

Источник: Пискунов В. Евангелие от компьютера / В. Пискунов // Литературное обозрение. – 1988. – № 1. – С. 43–47.

Проза

В. Пискунов

## Евангелие от компьютера

Владимир ТЕНДРЯКОВ  
Покушение на миражи  
Роман. «Новый мир», 1987, №№ 4—5

Заглавие этой рецензии служило рабочим названием романа В. Тендрякова, которому суждено было стать последним в творчестве писателя, увидеть свет уже после его кончины. Под рукописью, предложенной автором редакции «Нового мира», стояла дата ее завершения — 1979 год, журнальная публикация была подготовлена в 1982 году, а осуществилась лишь пять лет спустя — в 1987-м. Впрочем, срок, отделяющий рукопись от печатного текста романа, — каких-нибудь восемь лет — по нынешним понятиям не так уж и велик, если иметь в виду, что наше преимущественное чтение составляют сегодня произведения двадцати, тридцати, а то и большелетней давности. В подобных случаях прибегают к утешительной формуле: «рукописи не горят». Возможно, она и верна с точки зрения исторической (хотя та же история знает и другие, кроме огня, способы уничтожения рукописей), но никак не рассчитана на краткий срок человеческой жизни: на писателей, так и не увидевших прижизненных изданий своих сочинений, на читателей, выросших и состарившихся без многих лучших книг.

Но вернемся к исходному факту: мы переживаем сейчас полосу освоения старых книг, тех, что на годы задерживались на пути к своему читателю. Вот и роман В. Тендрякова «Покушение на миражи» писался в одно историческое время, а пришел к нам совсем в другое — с его новым мышлением и иным, чем прежде, мироощущением. Не зря это новое время с такой решимостью взялось за пересмотр иных литературных репутаций и авторитетов, полно нетерпеливого желания многое поменять местами и расставить по-другому (характерный штрих: роман В. Тендрякова появился в 4-м номере «Нового мира» в обрамлении программных стихотворений Н. Тряпкина «Не искал ты, Никита, муравскую землю» и В. Корнилова «Сорок лет спустя», которые насквозь полемичны по отношению к устоявшимся литературным представлениям). Дано ли роману В. Тендрякова выдержать испытание новым временем? Хватит ли сил постоять за себя?

Вопрос не праздный, тем более что писатель обладал открытым темпераментом публициста (закваска-то овечкинская!), живо откликался на самые актуальные проблемы времени, истово устремлялся «за бегущим днем».

Ответ на заданный вопрос не заставляет себя долго ждать — он тут же, на «новомирской» журнальной полосе. Достаточно сопоставить «Покушение на миражи» с произведениями, обставившими его в вышедших номерах «нового» «Нового мира», как между ними сразу возникает

прямой диалог, образуется переключка обсуждаемых проблем, идей и положений. Если же не ограничиваться одними ближними соседями по журналу, а заглянуть и в более далекие пределы, то ощущение органичности присутствия романа В. Тендрякова в литературном контексте современности только усиливается: то же стремление разрешить мысль о человеке и сказать о нем свое страданное слово, та же острая тревога за судьбы живого, которому грозит всеобщий «пожар», то же страстное желание восстановить распавшуюся «связь времен».

«Покушение на миражи» пришлось ко двору современности, как «Новое назначение» А. Бека, как «Белые одежды» В. Дудинцева, «Ночевала тучка золотая» А. Приставкина, «Дети Арбата» А. Рыбакова. Можно спорить о художественных достоинствах каждого из этих произведений, но все они свидетельствуют о том, что писательское слово — по давнему русскому заведению — не переставало быть самым чувствительным веществом совести, оно держалось даже там, где отступали целые направления науки и пасовало общественное мнение.

Но сказать только о современности романа В. Тендрякова и промолчать о его внутренней противоречивости, увидеть в писателе прямого глашатая «нового мышления» и пройти мимо драматической расколотости его сознания (примерно так получилось во «врезе» критика Д. Тевекеля к журнальной публикации романа; в том же духе высказались постоянные авторы «литгазетовской» рубрики «ТВ 7x7» после просмотра передачи «Владимир Тендряков», которая по недоступности самому изоощренному воображению причиняет семь лет выдерживался на полках, прежде чем пойти в эфир) — значит все-таки упростить суть дела, ограничиться рассмотрением лишь одной стороны медали. Писатель со временем отказался от названия «Евангелие от компьютера», осознав, вероятно, несовместность понятий, его составляющих, но так ли просто отойти с текстом, подсаживавшим подобный заголовок?

Не будем, впрочем, забегать вперед, а обратимся к первым страницам романа, на которых доктору физико-математических наук, профессору Георгию Петровичу Гребину (в ракурсе его восприятия строятся «современные» главы романа) приходит мысль промоделировать — с помощью ЭВМ — историю человечества, получить, опираясь на машину с ее железной логикой и безотказной памятью, ответы на вопросы: что есть история? каковы ее природа и законы? какое место в ней принадлежит сознательной, целенаправленной деятельности людей?

К тому, чтобы заняться историей, Гребин подготовлен прежними научными изысканиями («постоянно приходилось оперировать временем, символом «t» был составной частью едва ли не всех формул, которые создавал сам и заимствовал у других»). Но не ради теоретических абстракций пускается он в «плавание по реке Времени» со своими молодыми спутниками — программисткой Ириной Сушко, аспирантом-физиком Мишей Копыловым, историком Анатолием Зыбковым. И не ради острых интеллектуальных ощущений бьются они над тем, чтобы переоборудовать электронно-счетное устройство в «заветную» машину времени, а потом поставить на ней дерзкий «опыт об истории». «Путешествие длиной в век» уже однажды состоялось — в одноименной научно-фантастической повести Тендрякова, датированной 1964 годом. Побудительные мотивы нынешнего эксперимента другие. Слишком много в прошлом было утраченных иллюзий, миражей, неоправдавшихся «оптимистических гипотез» (даже «проницатель-

ный Белинский» не избежал «неосторожной восторженности», признавшись в зависти к внукам и правнукам, которые «станут жить в 1940 году», а в этом году уже шла вторая мировая война!). Еще более страшны миражи будущего, готовые свергнуть человечество в тотальную катастрофу. Гребин признается, что ни в прошлом, ни в настоящем ему не удалось отыскать «мгновения, про которое можно было бы сказать: остановись, ты прекрасно!» Люди, размышляет герой, умелы, удивительно сноровисты, избрительно создают с помощью одних вещей другие, вплоть до водородной бомбы, но часто бывают поразительно неразумными. Лишь по самознанию они продолжают относиться себя к виду *Homo sapiens* — человек разумный, хотя им больше подходит название *Homo habilis* — человек умелый.

Вот оно, слово сказано: «человек разумный». Именно при свете разума следует взглянуть на историю, дальнюю и ближнюю, найти тем самым выход к внутренне обязательному и необходимому. Гребин даже утвердил у себя на столе копию статуэтки — гостя из неолита, — которую археологи, раскопавшие ее, назвали «Мыслитель». Жест героя символичен: современник атомного века ощущает родственность собственным дум с теми, что зрели в темном мозгу жителя каменного века. Велико разделяющее их время, но оно не в состоянии отрезать их друг от друга, прервать непрерывную нить мысли: «Он, из крошечной тьмы веков, и я, нынешний, связаны единой заботой, которая возникла вместе с человеком, вместе с ним и исчезнет». Гребин начал свой труд, вдохновившись аналогией с работами биологов, которые вложили в ЭВМ сведения о первичном организме — протозоите — и сумели, управляясь от него, промоделировать все этапы эволюции органического мира. Протозоит и Христос, с которого берет начало гребинский экскурс в историю, — не стоит ли за отождествлением этих исходных посылок самоуверенность естествоиспытателя, убежденного, что путь к пониманию времени способна проложить современная физика и только она одна? Но даже и к концу работы Гребин апеллирует к необходимости «математического аппарата физических явлений» для разгадывания «человеческой природы». Во всяком случае, оправдываясь перед директором института в том, что в стенах физического учреждения он занимается разработкой «контрабандной» темы, Гребин ссылается на «теорию случайных процессов», способствующую, мол, открытию тайны человеческой истории.

Возможно, аргументация такого рода и подействовала на главу физического института, который, как рассчитывает Гребин, узаконит тему и подбросит под нее «штатные единицы». Но читателя, осознавшего зависимость «Прощания с Городом Осиянным» (название одной из глав романа) от «Легенды о Великом инквизиторе», она не может убедить. Да и в рядах «флибустьерской группы» временами назревает бунт: то юный помощник профессора Гребина Миша Копылов готов поставить под сомнение сплошь «детерминистский образ мышления», поднять голос в защиту «чуда», которое «и сейчас нередко представляется реальностью»; то сам Гребин нет-нет да и признается себе, что в нем живо «подспудное неосознанное ощущение», будто он поверяет алгебры гармонии, подменяет «чувство холодными расчетами». Тем не менее бунт быстро подавляется, сомнения исчезают, и «флибустьерская группа» продолжает свой опыт над историей, заправляя в компьютер программу, в которой «реальная жизнь намеренно сжата, предельно упрощена, крайне схематизирована». «Многоцветный исторический калейдоскоп сведен, — как сказано в другом месте романа, — к скупому колориту, к принципиальной схеме».

Действия группы Гребина вполне приспособлены к возможностям компьютера. Можно ли, однако, при столь жестко составленной модели мира рассчитывать на неожиданные результаты? И в самом деле, в ответах, получаемых от ЭВМ, все происходит — ничего не случается, действуют законы — устранены исключения. В романе как

бы сосуществуют, противоречия друг другу, два рода исторических источников: сказания, порожденные воображением, пронизательностью, интуицией художника, и машинные разработки в духе известного «парадокса» отца «философии науки» Г. Рейхенбаха: «Даже при поверхностном рассмотрении становится очевидно, что изучение времени является задачей физики. Эмотивные реакции на поток времени не могут ответить на вопрос: что такое время?»

Далеко не случайно наименее удачные, на мой взгляд, страницы романа как раз те, на которых повествуется о действиях «флибустьерской группы». Писатель вынужден порой прибегать к искусственному взбадриванию вяло текущих речей, намеренному оживлению монотонного хода мысли. Здесь нет и не может быть «драмы идей», не только, впрочем, из-за того, что компьютеру дана на откуп Книга Судеб (воспользуемся определением из романа Н. Евдокимова «Трижды Величайший...»), — машине передоверена вся история человеческого рода. В системе «человек — машина» срывается обратная связь, и механико-детерминистический способ мышления, присущий машине, становится достоянием самих людей. «Ошибка природа не терпит — выбраковывает... А тебе она разрешила полный срок прожить, значит, за ошибку не посчитала», — утешает мучающегося сомнениями друга Гребин. «Нельзя изменить нравы... не меняя социального устройства», — вторит профессору аспирант Толя Зыбков. «Нам, человеку, не дано взнуздать историю, напротив, она нас кует себе на потребу», — это уже из Ирины Сушко. И, наконец, обобщающее гребинское: «Любой и каждый без исключения — продукт времени, его одухотворенно-вещественная молекула... Мы не создатели всеохватного человеческого процесса, лишь участники его». Будем справедливы, стоит прозвучать подобному доводу, тут же кто-нибудь из «флибустьерской группы» приводит «контрдовод», свидетельствующий в пользу свободного выбора и личной инициативы людей на просторах истории. «Закон что телеграфный столб — перепрыгнуть нельзя, а обойти можно», — «срезает» Миша Копылов своих оппонентов, толкующих о «всеобщем детерминизме» и диктаторском влиянии «производительных сил... на общественные отношения».

Доводы — контрдоводы, тезисы — антитезисы, и все же живая мысль — редкая гостья на тех страницах романа, что отведены долгим теоретическим спорам: здесь очень много умозрительности и заранее готовых ответов. Другое дело исторические сказания — эти своеобразные притчи о человеке и роде человеческом. В связи с последними повестями В. Тендрякова критика заговорила об уклоне его прозы в сторону притчи. Суждение это распространилось столь широко, что даже и студенты — участники встречи с писателем, заснятой для телевизионной передачи «Владимир Тендряков», не обошлись без вопросов: чем привлекает автора «Шестидесяти свечей», «Ночи после выпуска», «Расплаты» этот дидактико-аллегорический жанр, какие дополнительные возможности он открывает перед современным писателем-реалистом? Опубликование романа «Почужение на миражи» помогает по-новому взглянуть на причины, побудившие В. Тендрякова обратиться к глубокой «премудрости» притчи. Писателя не могли не привлечь интеллектуальная емкость жанра, присущая ему целестремленность мысли, которая преодолевает вещную толщу обстоятельств и ищет прямого «выхода к этическим первоосновам человеческого существования» (С. Аверинцев). Но автор новоявленного «экскурса в область понятия времени» не приемлет принципиального антиисторизма притчи, ориентируется не на абстрактно-моралистическую, а на историческую мысль, оперирует не вневременными категориями, а стремится познать саму «идею времени». Он заявляет о себе как об убежденном стороннике того мирозерцания, которое, приобретая все большую актуальность в наши дни, было однажды так охарактеризовано М. Бахтиным: «Современность... — и в природе, и в человеческой жизни — раскрывается как существенная разновременность: как пережитки или реликты разных ступе-

ней и формаций прошлого и как задатки более или менее далекого будущего». Опознавательные знаки этого мироздания часто расставлены на страницах романа: «мы — концентрат прошлого», «грядущее проглядывается через прошлое», «грядущее проступает уже сейчас»...

«Моя почва — история», — слова трифоновского Гриши реброва, под которыми готовы распасаться и другие его герои (Сергей Троицкий, Павел Евстафович, Антипов...), — целиком относятся также к самому Ю. Трифонову, что справедливо замечено в монографии Н. Ивановой о нем. Но эти слова не составляют привилегию одного какого-нибудь автора, а близки многим, и не в последнюю очередь В. Тендрякову. Присоединился бы В. Тендряков и к трифоновскому: «Что такое история? На древнегреческом языке это слово обозначает расследование». Во всяком случае, оба прозаика почти одновременно принялись за подобное расследование, хотя повели его по-разному: Ю. Трифонов — сообразуясь с традициями психологической прозы, отправляясь от характера («человек есть нить, протянувшаяся сквозь время, тоненький нерв истории, который можно отщепить и выделить и — по нему определить многое»); В. Тендряков — обращаясь к жанру философского романа, сосредоточиваясь не на характере, а на судьбе: «В фарватере истории остаются человеческие маяки. Каждый что-то собой отмечает. По ним легче всего ориентироваться».

Самый глубокий след в памяти человеческой оставила судьба Иисуса Христа. Вот ее-то Гребин «со товарищи» и решает изъять из программы, заложенной в компьютере, чтобы установить, как смоделируется история без нее. Более того, на место Христа подобран наиболее вероятный его преемник — Павел, который занимает центральное место в логически расчисленной модели прошлого. Результат эксперимента, поставленного «флибустьерской группой», не замедлил сказаться: бесстрастная машина, не имеющая ровно никакого представления об евангельской легенде, сотворяет ее заново, возрождает пророка из Иудеи в прежнем облике и с прежним историческим предназначением. Первая эмоциональная реакция героев — такое «случайностью уже быть не могло» — получает обоснование в ходе дальнейшего обстоятельного рассуждения. Просчитав все возможные варианты, Гребин и его коллеги приходят к выводу, что законы истории необратимы, что каждому (будь то даже личность масштаба Иисуса или Павла) предопределено исполнять отведенную ему роль.

Не случайно оба персонажа Евангелия так остро нуждаются друг в друге, пребывают в отношении взаимной дополняемости. Иисус жил убеждением: «быть или не быть тебе нравственным человеком, зависит от тебя самого, от твоей воли, от твоего желания». Павел, в свою очередь, «уже уловил нешуточное: «нравы зависят не от воли отдельных лиц — от того, в каких общественных устройствах они находятся».

В. Тендряков, пожалуй, излишне доверился Ренану (ссылки на «Жизнь Иисуса» присутствуют в романе) и вслед за ним слишком буквалистски прочел Евангелие. Тем не менее, выводы, сделанные из сопоставления Иисуса и Павла, заслуживают серьезного внимания: «Парадоксально — для того, чтобы учение жило, оно должно объединять в себе крайне несхожие, противоречивые утверждения».

«Покушение на миражи», как и многие другие произведения исследуемого десятилетия и по той же причине, что и они (необходимость преодолеть современноцентрическую, если позволительно так выразиться, картину мира, потребность взглянуть на себя — нынешних — в ряду поколений), строится на чередовании современных и исторических глав, которые, подобно зеркалам, отражаются друг в друге и придают тем самым повествованию временную глубину. Эти исторические главы называются у В. Тендрякова «сказаниями», они имеют порядковые номера — от 1-го до 5-го — и являются, на мой взгляд, наиболее выразительными в художественном отношении частями романа. О первом и третьем сказаниях, названных соответственно

«О несвоевременно погибшем Христе» и «О Павле, не ведавшем Христа», речь уже шла. А вот второе, то, что расположено между ними, переносит читателя к событиям, случившимся за триста лет до рождения Назаретянина.

Необходимость этого сказания предопределена характером эксперимента, который закладывает Гребин, испытывая время («Я стал, — сообщает герой, — отбирать из истории необходимый мне багаж»). В нем повествуется о легендарной встрече Александра Македонского с Диогеном и о диспуте между наставником Александра — Аристотелем и затворившимся в бочке философом-анахоретом. Диспут ведется по всем правилам античного красноречия и с изыществом, отвечающим самым изысканным вкусам. Но главное достоинство «Откровений возле философской бочки» заключается, конечно же, в значительности проблем, которые здесь ставятся и обсуждаются. От античности (а возможно, и еще раньше — со времен неолитического «Мыслителя», что утвердился на рабочем столе героя) вплоть до наших дней — в наши дни в особенности — умы людей бьются над одним и тем же: должен ли человек оставаться первозданным, довольствоваться природным существованием либо по натуре своей призван испытывать природу, занимать по отношению к ней позицию творца и преобразователя? Природа — храм или мастерская? Спор, длящийся века, приобретает у тендряковских Диогена и Аристотеля особую наглядность, так как оба его участника не страшатся доводить мысль до конца, формулировать выводы с завидной последовательностью. Диоген, ожесточившийся против зла современной ему цивилизации, в неистовстве требует разбить «не только соху, а все, что она нажила, — дворцы и богатые дома, театры и ристалища, даже храмы... Тех, кто посмеет противиться, предавать смерти». «Человек должен вернуться к самому себе!» — призывает Диоген. Как часто человечество переходило от этих слов к делу, и какие кровавые реки были пролиты в XX веке ради «исправления мира» по естественному образцу!

Проповедь опрощения, не желающая считаться с действительным порядком вещей, — такой же мираж, как и претензии абстрактного разума, пытающегося перекроить жизнь и направить ее в умоуверительное расчисленное русло (в романе этой аристотелевской установкой руководствуются и фарисеи — противники Христа, и Александр Македонский, и Кампанелла). Но не меньше несчастий принесло и полное, безотчетное доверие уму — «перводвигателю» всего, проповедуемое Аристотелем. «Флибустьерская группа» благополучно минует эти миражи и продолжает прокляпывать сквозь толщу времени ради познания истинного закона, который предопределяет всеобщий ритм бытия. Начиная, однако, с четвертого сказания — «Страсти о ближнем» — жестко детерминированная схема истории подвергается сомнению. Вольноотпущенный Лукас, переживший рабство и погромы, которые учинились первым христианам, потерявший многих единомышленников и сам едва не угодивший на костер — из тех, что вылали в саду Нерона, проповедует любовь наперекор всему. К этой вере в очищающую силу любви он сумел приобрести даже своего господина, квилейского всадника Статилия Аппия, который готов теперь строить отношения с рабами исключительно на началах взаимного доброджелательства и любви. Но из благих порывов ничего не выходит: суровые законы хозяйствования взяли свое, несопадение интересов господина и рабов положило конец идиллическим мечтаниям. В результате стало еще хуже, чем было прежде: вспыхнувший бунт жестоко подавлен, на столбах распинают непокорных. А Лукас (случайна ли перекличка его имени с именем другого святого миражей всеобщей любви — Луки из горьковского «На дне»?) в глазах всех — и победителей, и побежденных — выглядит просто шутком, достойным осмеяния. Но, как ни печально положение Лукаса, его «страсти о ближнем» все равно многого стоят, а готовность взойти на крест ради и ближнего и дальнего обладает непреходящим величием. Пусть последний призыв Лукаса: «Очнитесь, люди!.. Одно спасе-

ние, люди, — лю-бить! Перед смертью зову вас — любите!» — встречен гомерическим хохотом, пусть смех непонимания сопровождал многих других проповедников любви — тем не менее слово «любовь» стоит в романе под ударением. Ведь обозначаемое им чувство обладает, по убеждению В. Тендрякова, спасительной силой, znamená способность человека превзойти самого себя, сделать свободный выбор и поступать по совести, вопреки обстоятельствам, что «не предусмотрено матерью природой». «Мир, живущий взаимной любовью, — новое, безрассудное желание, противоречащее самой природе... Слава тем, кто заряжает род людской неисполнимыми желаниями»; «В кошмарном мире только отчаянной отвагой можно подавить ужас и ненависть — только предельной любовью...» — это уже из размышлений Гребина, которые прямо перекликаются с проповедями Иисуса, с речами римского вольноотпущенника Лукаса и выражают сокровенные мысли автора.

Правда, В. Тендряков знал цену форсированной патетике и потому не ограничивался одними романтическими декларациями. В дальнейшем сама природа любви будет подвергнута в романе тщательному анатомированию, писатель — прямо-таки ориентируясь на эстетику просветителей — станет классифицировать чувство по уровням и подуровням. Пока же обратит внимание на следующее немаловажное обстоятельство: если в «Страстях о ближнем» знание одних только законов оказывается недостаточным для проникновения в тайну истории, то в пятом сказании — «Прощание с городом Осиянным» — компьютер уже вовсе бессилен перед Евангелием (воспользуемся символической первоначальной названию романа): машине, привыкшей оперировать со строгими математическими формулами и логически безупречными модулями, не прочтешь Книгу Судеб — слишком много в ней «беспечной безответственности перед логикой, слишком часты исключения из правил и отступления от законов, будто писалась она поэтом, а никак не строгим мыслителем».

Олицетворением такого мыслителя для В. Тендрякова с давних пор был монах-доминиканец фра Томмазо, известный в миру под именем Кампанелла. Это с его книгой «Город Солнца» не расставался герой повести «Три мешка сорной пшеницы» Женька Тулупов, который постоянно сравнивал голодную военную русскую деревню 1944 года с идиллическими «схемами», расчисленными Кампанеллой. Но если в повести Город Солнца увиден «со стороны», отвергнут как прельстительный мираж, то в романе мы становимся свидетелями его собственной катастрофы, неизбежного крушения тех опор, на которых он был возведен. Кампанелла, казалось бы, все предусмотрел: «счастливая жизнь» упорядочена до мелочей, регламентирована по всем пунктам, вплоть до того, что «женщины статные соединяются только со статными и красивыми мужьями; полные же — с худыми, а худые — с полными, дабы они хорошо и с пользою уравнивали друг друга». Закон «всеобщего благоденствия» не принимал, однако, в расчет такие «мелочи», как различие человеческих натур, неодинаковость личностных установок, разную степень талантов. В результате вымечтанная солнечная утопия обернулась трагической антиутопией, и виной тому «слишком простой взгляд на жизнь», в чем с полным основанием упрекает Кампанеллу верховный правитель Города Солнца, представший перед ним в его предсмертном сне.

«Слишком простой взгляд на жизнь» вверг в соблазн не один только XVII век, в первой половине которого скончался мученик и мечтатель фра Томмазо. Вот и сегодняшнему историку приходится оспаривать своих коллег, считающих, что личностные отношения — только «разновидность вещных, и личные формы связи лишь «маскируют» экономические отношения. Вот и современный философ ведет диспут с оппонентами, настаивая, что «идея времени» — «не только форма, данная нам извне, из человеческого познания внешнего мира, но и изнутри, из

познания нашего внутреннего опыта, из человеческого самосознания». И разве эти, казалось бы, сугубо теоретические рассуждения не соответствуют потребности актуализации «человеческого фактора», которую все мы ощущаем сегодня как насущнейшую практическую необходимость?

«Прощание с Городом Осиянным» — художественная вершина романа В. Тендрякова именно потому, что писатель здесь не просто задает истории свои вопросы и получает на них ответы (такое под силу и машине!), а вступает с ней в диалогические отношения. Было бы соблазнительно списать трагедию Кампанеллы за счет вымыслов и нелепостей, случившихся в прошлом и окончательно изжитых вместе с ним. Но это вновь «слишком простой взгляд на жизнь». Лучшие страницы романа В. Тендрякова проникнуты иным отношением к истории — как к постоянному процессу открытия человеком мира и себя в этом мире. Отсюда и возможность диалога с ней: прибывая к «общему делу», мы начинаем лучше понимать себя нынешних, основательнее постигать свои сегодняшние, тоже не абсолютные, тоже пребывающие в процессе становления и вовсе не окончательные представления о мире — такие же не окончательные, как и те, что были достигнуты поколениями до нас.

«Истинно человеческое» — пользуясь марксовым определением — время не поддается счету с помощью сплошных отвлеченных величин, не сводимо к чисто физической определенности событий, их последовательности и упорядоченности. Оно всегда больше и иное, чем «равномерное, само себе равное время». К этому выводу приходишь, читая исторические сказания Тендрякова (как, впрочем, и современные: имеются в виду жизнеописание старика Ивана Голенкова и сына главного героя, Севы, — истории людей, прямо не связанные с фабулой, но тем не менее имеющие первостепенное значение для целостного понимания произведения).

В. Тендрякова всегда и с полным правом относили к числу художников беспокойных; он не мирился с общественным самодовольством и самоуверенностью, старался растрогать совесть читателя, торопился (по верным словам И. Золотусского) «ставить вопросы», «бить в колокола». Вот и вопрос: «легко ли быть молодым?» им был поставлен едва ли не раньше всех остальных — в повестях «Ночь после выпуска», «Шестьдесят свечей» и в романе «Покушение на миражи», герой которого поначалу убежден, что только там, «у них», возможен конфликт между отцами и детьми, а потом на опыте собственной семьи, ценой разрыва с сыном убеждается: «То, что свойственно временам и народам, в том или ином виде не может миновать и нас».

Легко ли быть молодым? А легко ли быть старым? — и не только из-за тяжелого груза лет, немощей, пугающего приближения смерти. Фронтовой командир Гребина, Иван Тимофеевич Голенков — «человек кристальной честности и самоотверженного благородства», — прожил жизнь в полном согласии со своим временем и своей совестью, а на восьмом десятке оглянулся, задумался, и многое оказалось не то и не так. Старика мучает прямо-таки «кампанелловский комплекс»: нет ли собственной вины в том, что день сегодняшним получился не совсем таким, как долгими годами мечталось и планировалось? Ведь и сам не раз прикладывал руки к тому, чтобы «накалить обстановку»: «не мог глядеть, не прицеливаясь, не мог действовать, не сокрушая, даже когда говорил, то изо всех сил старался, чтобы слова имели «пробойную силу».

«Не оттого ли, что я жизнь перекалил, мои дети холодны, как ледышки... Камо грядеши, человецы?» — на трудные вопросы старика у Гребина нет ответов; как и на вопросы голенковской дочери — задерганной бытом, ожесточившейся от неприятностей праведницы, без которой не стоит семья; как нет ответов и на вопросы собственного сына. Там, где пасует Гребин, занятый проектами всеобщего благоденствия, но многого не замечающий под

своим носом, его опорой оказывается жена. Катя обладает предусмотрительной мудростью жизни, действует по любви, а не по нетерпеливому желанию «поднажать», «переиначить», чтобы все наконец стало по правилам и пошло «ровнехоньким накатом»...

Как видим, В Тендряков верен себе; устремляется ли он на просторы истории или обращается к современности, его волнует одно и то же. Да и как может быть иначе, когда время воспринимается синхронно, а не разделяется на изолированные друг от друга и последовательно сменяющиеся отрезки — прошлое, настоящее, будущее? Правда, в современных сказаниях все же больше присутствует авторская воля, чем самодвижущаяся мысль героев, но так или иначе и они, и исторические сказания — та самая Книга Судеб, что осталась не прочитанной компьютером, зато побуждает читателя к самостоятельному раздумью и размышлению над вечным: «Камо грядеши, человецы!»

Наталья Солнцева

## О «шахе ученых» и великом устоде

Адыл ЯКУБОВ

В этом мире подлунном

Перевод с узбекского Ю. Суровцева. М., «Советский писатель», 1987

Перед нами роман, основанный на исторических фактах, народных легендах и преданиях, на письменных документах и воспоминаниях Абу Убайда Ал-Джузджани, ученика Авиценны. Повествует он о двух великих ученых средневековья — Абу Райхане Бируни и Абу Али Ибн Сине (Авиценне). Историзм здесь далек от созерцательности: он активен, проблемы романа резонируют в сегодняшнем дне.

...Подлунный мир полон превратностей. Скитальцам, отступникам, великому устоде (учителю) Бируни и «шаху ученых» Ибн Сине после долгой разлуки суждено было встретиться в обсерватории Газны. Двадцать горьких лет прошло со дня их последней встречи во дворце хорезм-шаха Мамуна, своего рода Академии наук и искусства. Уже старики, они возвращаются к своему давнему философскому спору о сути жизни, ее первопричине. Обделенные богатством, лишённые семейного счастья — они взваливают на свои плечи заботы о человечестве, их совесть заболевает судьбами народа, их творческая энергия направлена на постижение мироздания. В эпоху жестокого средневековья, мракобесия, невежества их мысль рождала то, что сейчас называют духовной культурой Востока. Творчество мысли, борьба гуманной идеи, трагическое одиночество таланта — все это стало темой романа.

Озабоченные вопросами космического порядка, они будут биться в замкнутом круге земных противоречий XI века. Они будут рассуждать о субстанциях природы и духа, о воплощении творца всего сущего во всем сущем, о цикличности движения мира, но оба они испытают растерянность, когда спустятся в мыслях своих с высот: если мир — воплощение творца, если все — от движения планет до взмаха мотылька — кричит о целесообразности, почему же род человеческого погряз в ненависти и суеверии, почему нус, разум человека — одна из категорий философского Учения Авиценны — томится в плену у жестокости и невежества?

А. Якубов поведал о драматизме гуманной идеи в эпоху средневековья. Его герои, при всей своей гениальности, оказались бессильными изменить свою судьбу. Жизнь близких и, наконец, — мир подлунный. Уставший от побегов и погонь, от разочарований и обид, Ибн Сина произнесет: «Что же делать, учитель! Не нам, видно, дано изменить мир». Он же благоразумно посоветует своему преданному ученику: «Будем держаться подальше от сильных мира сего. Нет большего счастья, чем знание».

Газна оказалась немилосердна к врачу-ученому. Ученый, философ, врач, автор свыше четырехсот сочинений на арабском, около двадцати — на фарси, автор «Канона врачебной науки», рукописей по физике, логике, геометрии, арифметике, музыке, астрономии, философии будет объявлен самозванцем. С позором изгонят его из дворца газийского деспота. Истинный талант окажется осмеянным и беззащитным.

А. Якубов художественно мотивирует социальное учение Ибн Сины. Прежде чем Абу Али, юноша, который тайком спускался в темный холодный подвал и, рискуя быть обвиненным в святотатстве, вскрывал трупы безвестных нищих, стал шейх-ур-раисом Ибн Синой — прошли годы страданий. Испивший чашу горечи и унижений, Ибн Сина на каком-то этапе своей жизни придет к мысли о дозволенности вооруженного восстания против деспотов. К сожалению, этот вывод ученого не нашел своего отражения в романе. Тем более особенный интерес в произведении представляет история отношений Ибн Сины и руководителя восставших карматов Исмаила Гази. Бунтовщика прокляли в мечети, но народ слагал о нем легенды. Именно сабразы имама Исмаила, затаившись в густой арочной роже, спасают врача-ученого от расправы султана.

Молчаливо поддерживая движение карматов, великий исцелитель настойчиво отклоняет предложение имама участвовать в борьбе. У него иная стезя: его ждут еще не написанные книги, наука, наконец, зачумленный Исфахан, город, в котором несчастные мерли так, словно с тутовника осыпались спелые ягоды, город, в котором был закончен знаменитый «Ал-Канон».

Однако великий врачеватель верит в будущее совершенство человека. Как гласила известная на Востоке легенда, человек представляет собой клетку триединства: в ней заперты собственно человек, лев и кабан. Первый олицетворяет разум, нус, второй — агрессию и жестокость, третий — низменные страсти. Ибн Сина предрекает абсолютную победу человека и над львом, и над кабаном, но срок этой победы отодвигается им на тысячелетия.

Ортодокс в исламских воззрениях, Бируни оставался естественником, практиком в познании природы. Автор романа проводит своего героя через цепь жизненных испытаний. Сюжетными узелками А. Якубов связал судьбу героя с Хорезмом и Газной XI века. На окраине, заставленной похжиными на птичьи гнезда глинобитными лагунами, обитали носильщики и дровосеки. Здесь начал Бируни познавать жизнь, отсюда пошел отсчет практического опыта будущего ученого.

Лавочникам он подметал пол; у мастеров халвы раздувал огонь; у кузнецов он стучал молотом; у гончаров вертел гончарный круг. В лавках арабов он обучался арабскому языку, в индийских торговых рядах освоил наречье Индии. Была ему понятна и речь китайцев.

Как Ибн Сина, как Фирдоуси, Бируни был скитальцем. С палкой-посохом в руке, с переметной сумой на плече он обошел пол-Индии, изучая древние книги, историю храмов, логику и геометрию, географию и космографию. В итоге будет написан труд, в котором зазвучит неприятие насилия султана. Он так и назовет свою рукопись — «Индия». Ее он будет прятать от соглядатаев и наушников двора.

Как и Ибн Сину, его опалило учение карматов. Наставник Бируни Абдусамад Аввала, последователь Исмаила, идей духовного совершенства человека, примет на себя «вину» своего ученика — авторство книги о деяниях Исмаила. Перед казнью он повторит свой завет: